

ISSN 0321-2904

Литературное '87 11

ОБОЗРЕНИЕ



Евг. Шкловский

Самое главное

Проблемы гуманизма в современной прозе



Евгений ШКЛОВСКИЙ — критик, кандидат филологических наук, автор книг «Проза молодых: герои, проблемы, конфликты» (1986), «Человек среди людей» (1987) и статьи о русской и современной советской литературе

I. Гуманизм — это человечность!

«Земля поворачивалась. Агеев вдруг ногами, сердцем почувствовал, как она поворачивалась, как она летела вместе с озерами, с городами, с людьми, с их надеждами — поворачивалась и летела, окруженная сиянием, в страшную бесконечность».

Это строки из давнего рассказа Юрия Казакова «Адам и Ева» (1962), но звучат они так, как будто написаны именно сегодня, словно навеяны нашим сегодняшним мироощущением, чувством малости нашей планеты, летящей в страшную бесконечность.

В том рассказе герой, художник Агеев, личность не очень привлекательная, но воспринимающая мир остро и тонко, с разделяемой автором горечью сетовал на критиков: «Кричат о современности, а современность понимают гнушно. И как врут, какая демагогия за верными словами! ...Они, когда говорят «человек», то непременно с большой буквы. Ихнему проясненному взору представляется непременно весь человек — страна, тысячелетия, космос! Об одном человеке они не думают, им подавай миллионы. За миллионы прячутся, а мы, те, кто что-то делает, мы для них пижоны... Духовные стилиги — вот кто мы! Геро-оика! — противно произнес Агеев и засмеялся. — Ма-ассы! Вот они, массы, — Агеев кивнул на пассажиров. — А я их люблю, мне противно над ними слюни пускать восторженные. Я их во плоти люблю — их руки, их глаза, понятно? Потому что они землю на себе держат. В этом вся штука. Если каждый хорош, тогда и общество хорошо, это я тебе говорю!»

Над этими словами стоит серьезно задуматься — в них искренняя боль художника, и, думаю, многие писатели могли бы их повторить. Да и проблема здесь поставлена для нашего искусства наиважнейшая — проблема гуманизма.

Страна, тысячелетия, космос, миллионы — иронизирует казакский герой. Сам он выдвигает на первый план конкретного живого человека, индивидуальность — «во плоти». Ю. Казаков, многие рассказы которого нисколько не устарели, своим творчеством подтверждал эту мысль, размышляя о счастье и его природе, страданиях и преодолении их, о нравственном долге перед народом и отношении к труду, о любви и живучести низких инстинктов.

Однако случайно ли, что тому же Агееву дано ощутить полет нашей маленькой планеты — «с городами, с людьми, с их надеждами»? Ведь, по существу, он испытывает нечто подобное тому, над чем совсем недавно усмехался: космос, тысячелетия...

Нет, писатель не опровергает своего героя, не ловит его на противоречии. Слова-то верные! Но нужно еще и сердцем почувствовать, чтобы они наполнились подлинным глубоким смыслом, перестали быть пустыми оболочками, газетными штампами. Чтобы связались в одно нерасторжимое целое жизнь каждого отдельного человека

и всего человечества, всей Земли. Чтобы были не только словами, но и делом.

Уже тогда, в начале шестидесятых, Ю. Казаков сумел уловить и выразить чувство единой земной жизни, складывающейся из судеб и чаяний многих и многих, — переживания, приобретающее сегодня особый драматизм не только в литературе, но и в жизни, поставленной на грань катастрофы — ядерной и экологической.

Земля ныне уже не представляется огромной и бесконечной — напротив, маленькой и хрупкой, всецело зависящей от самих людей, получивших в свои руки страшные разрушительные силы. И такие понятия, как «новое мышление», «планетарное мышление», совсем недавно прочно вошедшие в наш обиход, закономерно становятся ключевыми в общественном сознании и в политическом диалоге: они во многом отражают остроту переживаемого человеческого момента, когда великий гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?» с неумолимостью рока встает перед всей земной цивилизацией.

Ростки этого нового мышления в начале восьмидесятых годов, пожалуй, наиболее рельефно предстали в романе Ч. Айтматова «И долгие века длится день» с его «космологической» линией. Роман был встречен критикой благожелательно, и если вспыхивали споры, то они касались в основном вопроса об органичности фантастической линии в этом произведении. Мысль же писателя о чуждости, больше того — о враждебности космического противостояния двух мировых держав народной жизни как-то притушевалась.

А ведь космическая линия в романе Ч. Айтматова достаточно отчетливо была противопоставлена естественной и трудной жизни в Сарозеках, на бурном полуостанке, где обитали герои писателя — простые труженики Едигей, Казангап и другие. Здесь они вершили свои человеческие, насущные дела, решали свои повседневные житейские проблемы, в которых вместе с тем аккумулировались и проблемы всеобщие, универсальные — исторической памяти, национальных традиций, духовного самостояния личности и уважения к человеку.

И то, что происходило параллельно в космосе, невольно воспринималось не только как нечто очень далекое от насущных и коренных народных потребностей и интересов, но и как реальная и страшная угроза существованию всего человеческого сообщества, символом которого был маленький полуостанок на магистральной «восток—запад».

Проблемы гуманизма современной литературы невозможно рассматривать ныне вне подобной соотнесенности глобальных проблем с жизнью отдельного человека, с судьбой народной. Их связь — обнаженный нерв сегодняшней реальности, и не учитывать этого нельзя даже при обращении к произведениям, написанным более двух десятков лет назад. Именно тогда, между прочим, и вызревали семена это-

го нового мышления, нового взгляда на человека с его желаниями, страстями, надеждами — вышеупомянутый рассказ Ю. Казакова наглядное тому свидетельство.

Именно в те годы, последующие за XX съездом партии, в нашей литературе — и в прозе, и, наверно, еще сильнее в поэзии — зазвучала идея самоценности человеческой жизни, неповторимости человеческой личности.

Так называемые простые люди, рядовые члены общества — рабочие, крестьяне, интеллигенты, победившие в одной из самых страшных войн, поднявшие страну из руин, вынесшие на своих плечах столько тяжелейших испытаний, сколько, может быть, не знал ни один народ в мире, — эти люди стали осознаваться как самое главное и ценное, а сочувствие, сострадание, любовь к ним — как неотъемлемое и важнейшее качество советской литературы, наследуемое ею у нашей классики прошлого века.

Чтобы дать более четкое представление о том, от чего стремилась отказаться литература, приведу рассказ из выступления Ольги Берггольц в дискуссии «Гуманизм и современная литература», проведенной в 1962 году Союзом писателей СССР и ИМЛИ им. М. Горького. Писательница вспомнила статью 1949 года, где некий литератор корил Д. Данина, автора книги о Ленинграде, за его слова о великом сострадании, которое родина и народ испытывали к мужественному и самоотверженному городу.

Что же не устраивало автора статьи? Он заявлял, что чувство жалости недостойно советского человека, что в нашей стране уже забыли, что такое сострадание, а по отношению к Ленинграду испытывали совсем иные чувства — чувства гордости, восхищения.

Сегодня, когда мы прочитали «Блокадную книгу» А. Адамовича и Д. Гранина, имея в золотом фонде нашей литературы лучшие произведения деревенской и военной прозы, проникнутые пафосом гуманизма, как-то трудно поверить в возможность такого рода заявлений.

Но ведь они были! И в немалом количестве. Можно даже с прискорбием констатировать, что довольно долго именно они делали погоду, воюя с призраком так называемого абстрактного гуманизма. И в той самой дискуссии, материалы которой были опубликованы журналом «Вопросы литературы» (1962, № 11), некоторые из выступавших с застарелым пренебрежением высказывались о «разных видах сострадательного отношения к человеку» (А. Овчаренко), о самой идее человеколюбия.

Забыть о сострадании — значит забыть о человеке. Не только о человеке вообще, но — о конкретном живом человеке с его реальными запросами и нуждами, помыслами и делами, чувствами и мыслями, всегда являющимися главным объектом искусства.

Пройдя вместе с обществом через суровые и сложные годы послереволюционной истории, вдохновляемая общенародной жадой справедливости и теми высокими целями, которые были начертаны на знамени революции, литература не избежала и не могла избежать давления времени, различных его веяний и противоречий, так или иначе преломлявшихся в писательском сознании и определявших его отношение к проблемам текущего дня. А среди них были и такие поистине трудные, драматические проблемы, как соотношение интересов личности и интересов массы, классовых и общечеловеческих задач в построении социализма и т. п.

Многими писателями эти вопросы решались действительно мучительно, с колоссальным внутренним напряжением, отразившимся и на их творчестве. И если гибель Андрея Старцова в «Городах и годах» К. Федина, героя, автору во многом близкого, представляла исторически оправданной, то это было во многом данью времени с его жесткой формулой «лес рубят — щепки летят».

Гуртоправ Афанасий Божев из недавно пришедшей к нам, написанной в 1934 году и потому вобравшей в себя настроения именно того периода повести Андрея Платонова «Ювенильное море», рассуждает так: «Ведь миллиарды разных людей умерли бесполезно... Что же вы одну-то

стоите жалеете! Мало ли на свете жителей осталось!.. Жалейте хоть меня, если в вас гнилой либерализм бушует!» А ему отвечает активистка старушка Федератовна: «Всех жалеть не нужно, многих нужно убить...»

В таких координатах мыслят многие из персонажей А. Платонова: гротеск здесь неразрывно слит с реально бытовавшим в ту пору резко заниженным представлением о ценности отдельной человеческой жизни. Вовлеченность масс в процесс социального творчества, ломка прежнего уклада жизни оттесняли личность с ее индивидуальными проблемами и запросами на задний план.

Разумеется, были и другие не менее серьезные и значительные факторы, способствовавшие обесценению человеческой жизни в общественном сознании. Внесли в него свою страшную лепту первая мировая и гражданская войны. Немало содействовала этому и сталинская идея обострения классовой борьбы, обернувшаяся массовым террором. Естественно, и смысл самой идеи гуманизма в тех условиях не мог не претерпеть глубоких изменений.

Это сегодня наша общественная мысль, и в первую очередь историческая и литературная, задается горькими, поистине мучительными вопросами об исторической необходимости многого из того, что происходило в те годы. О правомерности абсолютизации классового начала в ущерб общечеловеческому. Об оправданности жертв, понесенных народом.

Честное постижение нашей истории сегодня, преодолевающее десятилетиями складывавшиеся стереотипы, которые заботливо лелеяла и пестовала наука, помогает представить пройденный страной путь не как триумфальное шествие, а как процесс глубоко противоречивый, где противоречия разветвлялись не как конфликт хорошего с лучшим, а были поистине трагическими. Представить этот трудный путь в единстве обретений и невосполнимых потерь.

Чтобы видеть реальность такой, какова она есть, нужно иметь немалое мужество. И тем больше его нравственная и гражданская ценность, чем больше хочется закрыть глаза, не видеть, не думать, не вспоминать, не анализировать.

В самом деле, еще совсем недавно процесс коллективизации рассматривался только как явление всецело позитивное, а раскулачивание — как вынужденная, но необходимая мера. Но вот что, к примеру, говорит по этому поводу академик ВАСХНИЛ В. А. Тихонов: «Совершенно неожиданно звучат утверждения Сталина, что в 1928 году пять процентов крестьян страны являлись кулаками, из них 2—3 процента особенно зажиточные (500—700 тысяч дворов) подлежали индивидуальному налоговому обложению.

Думаю, что здесь качественные социальные критерии были подменены чисто количественными оценками уровня развитости хозяйства. Под категорию кулака подведены крестьяне, которые своим трудом на земле, данной им Советской властью, сумели сделать свои хозяйства выше среднего уровня. Вероятно, они-то и попали под раскулачивание. Известно, что Сталин в одной из бесед сказал, что были раскулачены миллионы человек. Такова правда. Тут ни убавить ни прибавить...» («Литературная газета», 1987, 8 апреля).

Эта правда, какой бы тяжелой и горькой она ни была, необходима нам сегодня как воздух. Без нее не понять, что происходило с народом на протяжении семи десятилетий советской истории, какие гигантские нравственные ресурсы были затребованы от него, чтобы преодолеть трудные, суровые годы, чтобы пронести неискаженной саму идею человеческого человека, лежащую в основе социалистического учения.

Вот почему сегодня, когда страна переживает ответственный период перестройки и обновления, проблема гуманизма приобретает особенно важное, первостепенное значение — и в жизни, и в литературе.

В беседе с деятелями мировой культуры, участниками Исык-Кульского форума, М. С. Горбачев, напомнив собравшимся ленинскую «мысль колоссальной глубины — о при-

оритете общечеловеческих ценностей над задачами того или иного класса», сказал: «Человек — это, в конечном счете, самое главное. Если прогресс в той или иной области сопровождается человеческими потерями — не только духовными или политическими, но и физическими, — то система, допускающая такие потери, должна быть поставлена под сомнение».

Пришло время со всей решительностью подчеркнуть истинный смысл понятия «гуманизм», не затуманивая его играми в термины, якобы проясняющие его социальную сущность, а на деле часто превращающиеся в обыкновенный жулел.

Совершенно справедливо заметил Юрий Трифонов в письме к западногерманскому прозаику Мартину Вальзеру: «О нет, гуманизм еще пригодится. Конечно, к этому понятию налипло много лишнего, чепухи, нелепости и дряни, но где-то внутри, в середине — как в человеке, — в нем сидит доброкачественное: человечность. Не ради этого ли — того, что в середине, — мы порти́м бумагу?»

Проще, казалось бы, простого: гуманизм — это человечность, это признание достоинства и свободы личности, это доверие и уважение к ней. Но как непросто, с какими муками прививается идея человеколюбия в жизни!

Разумеется, можно и дальше развивать понятие гуманизма как предполагающее программу реальных действий, социально-практического преобразования действительности, совершенствования общественных отношений и т. д. Но дело не в том, чтобы выработать некую универсальную и всеобъясняющую формулу, а в том, чтобы проникнуться сутью: человек — вот главное.

Гуманистический характер современной советской литературы проявляется в самых разных ее аспектах, начиная от пафоса и кончая методом художественного исследования. Углубление реализма и концепции личности, воссоздание объемного и полнокровного образа человека, его духовных и нравственных исканий, проникновение в его сложный внутренний мир и понимание его многомерных связей с социальными процессами прошлого и настоящего — все это имеет прямое отношение к гуманизму, сопряжено с верой в человека и в его способность к развитию и самосовершенствованию.

2. Добывание правды

Происходящие в нашей стране перемены, благотворное изменение общественной атмосферы, духовного и нравственного климата, связанные с демократизацией, и в первую очередь с гласностью, применительно к литературе обернулись общим непререкаемым требованием правды.

Тон здесь во многом задавала публицистика, в полный голос заговорив о язвах и пороках, долгое время заботливо укрываемых под розовым пологом безмятежного словоговорения о процветании и благоденствии.

Но и литература тоже делала свое дело. Уже было неоднократно отмечено, что роман Ч. Айтматова «Плаха» вызвал столь широкий общественный резонанс не только остротой и злободневностью своей социально-этической проблематики, но и тем, что впервые вывел на свет такое зло, как наркомания и порожденный ею подпольный бизнес.

И такие произведения, как «Пожар» В. Распутина и «Печальный детектив» В. Астафьева, обозначившие своего рода рубеж в движении современной прозы, выделились прежде всего именно их открытой, обнаженной правдивостью, пронзительной нотой боли и тревоги.

Однако если просматривать читательскую почту, вызванную тем же «Печальным детективом» с его повышенной концентрацией изображенного зла, вопиющей жестокости, нравственного оскудения, то мало ли мы найдем здесь упреков писателю в очернительстве, а то и в клевете на нашу действительность? Полагаю, немало.

Я не случайно заговорил о читательском восприятии, поскольку оно тоже имеет отношение к проблеме правды. Не охотней ли мы принимаем все то, что баюкает наше душевное спокойствие, что не тревожит нашу совесть, что не заставляет задумываться?

Общественно-литературный опыт предшествующих десятилетий показывает, что как только художественная правда того или иного произведения становится слишком болезненной, так сразу же начинается отторжение, подчас роковым образом влияющее на его судьбу.

Не так ли было со многими произведениями нашей военной прозы, которые подвергались ожесточенным нападкам за их так называемую «окопную правду»? Не так ли было и с произведениями о послевоенной, да и о современной деревне, стоило только автору показать с реалистической прямотой, какой неподъемный груз лег на плечи сельских жителей, и прежде всего женщин?

Увы, попытки сузить правду, ограничить ее, ввести ее в приличные рамки всегда были и будут. И обоснования для этого будут приводиться самые разнообразные и благонамеренные: зачем беречь старые раны, ворошить прошлое, трогать больное, выносить сор из избы и т. п. При этом как-то забывается, что духовная и нравственная ценность литературы всегда зависела от высоты ее болевого порога, от стремления осмыслить самые животрепещущие вопросы народного бытия.

Сейчас же речь о другом — о способности человека увидеть и понять правду, пробиться к ней сквозь заслон привычных представлений, основанных не на реальном положении вещей, не на проникновении в их суть, а на их видимости. Увидеть и мужественно принять, извлечь из нее уроки.

Постижение правды — процесс объективно трудный, требующий от человека немалых духовных усилий, огромной работы над собой, поскольку предполагает освобождение от предписанного, навязанного, принятого на веру без необходимого испытания мыслью и совестью. Это обретение, так сказать, сущностного видения есть не что иное, как рост личности, необходимый для ее движения вперед, для ее приобщения к истинным нравственным ценностям.

Можно говорить о двуединой сущности правды в художественном произведении. Правда — как непереносимое условие, без которого немислима подлинно реалистическая вещь. И правда — как цель, к которой устремлены герой и автор. Правда — как достоверность и правда — как постижение сущности жизненных явлений, их глубиной взаимосвязи, их истинной общественно-нравственной значимости.

В повести И. Герасимова «Стук в дверь» директор школы Баулин так описывает события, происходившие июльской ночью 1949 года в Молдавии, в которых он принимал активное участие: «Докладываю, что задание, порученное мне райкомом, выполнено. Операция прошла спокойно и на должном политическом уровне. Население в основной своей массе одобрительно отнеслось к справедливому акту очищения республики от пособников врагов Родины, поэтому в селе Пырлица никаких эксцессов и провокационных вылазок не наблюдалось...»

Все вроде бы достоверно в этой докладной записке для райкома партии, и тем не менее истинная суть событий осталась в ней неотраженной. Но Баулину она открылась — не сразу, не полностью, может быть, но душа его уже уязвлена, потрясена ею. Он еще не знает, как ему с ней быть, загоняет ее в дальние уголки своего сознания, но мы понимаем: в его жизни уже родилось, возникло что-то новое, что может и развиться, а может и заглохнуть, и все-таки прежним герой уже не будет — он прикоснулся к правде. Он задумался.

Когда же его, внезапно разбуженного посреди ночи, вызвали срочно в райком и наряду с другими коммунистами снабдили инструкциями «о переселении в отдаленные места лиц, сотрудничавших с немецко-фашистскими оккупантами, спекулянтов и неблагонадежных элементов», Баулин

вопросами не задавался. Энтузиазма он, правда, особого не испытывал, но приказ есть приказ, и он, как коммунист, должен его исполнить...

Баулин — всего лишь послушный исполнитель, но откуда эта его нервозность, его истерические срывы на крик, его мелкая дрожь и даже тошнота, когда он врывается вместе с солдатами в чужой дом, поднимает растерянных, испуганных людей с постели и предъявляет им бланк, подписанный прокурором?

Все сильнее в нем внутренняя отторженность, все сильнее протест, хоть он и старается не прислушиваться к себе, не придавать значения собственным переживаниям, душист их ревностью и жестокостью по отношению к выселяемым.

Характерно, что не только он, Баулин, цивильный человек, хотя и прошедший войну, испытывает подобную двойственность. С удивлением он замечает ее и в, казалось бы, невозмутимом сержанте Галимове, и в офицере, в котором вдруг открывает «что-то жалкое». И уж совсем странна для героя такая реакция опытного, видавшего виды офицера: «Устал, — сказал он тихо и провел ладонью по лицу. — То же мне война... с бабами и детишками, — и неожиданно с остервенением сплонул.

Тут же лицо его стало строгим, в глазах мелькнула жесткость».

Почти в каждом из персонажей, за исключением разве упомогаемого МГБ капитана Ткача, плотного мужчины с черными лихими усами и всегда веселыми серыми глазами, слышит автор голос человеческого — голос протеста, растерянности, невольного сочувствия выселяемым. Именно это и дает ему возможность передать истинный драматизм ситуации.

Почти все герои — и Баулин, и сержант Галимов, и первый секретарь райкома Гололобов — переживают так называемую «сшибку», когда нельзя уклониться, воспротивиться, а нравственное чувство тем не менее протестует, не хочет и не может смириться. Ту самую «сшибку», которая подрывала, разрушала здоровье героя романа А. Бека «Новое назначение» Онисимова, сильного и твердого человека, «солдата партии», как не раз называется он в произведении.

Сцены выселения, жестко и лаконично написанные И. Герасимовым, доносят до нас унижение и беспомощность людей, их валустрое равнодушие и страшное смирение, их горе и отчаяние — и вместе с тем помогают понять чувства Баулина, его смятение и постепенное прозрение.

Сомнения в справедливости происходящего, закрадывающиеся в душу героя, усиливаются при встрече с Урсулом, с которым они вместе воевали в партизанском отряде. А теперь его, Урсула, награжденного орденом за боевые заслуги, собираются выселить вместе с семьей как «пособника», и он не желает узнавать Баулина.

Встреча эта мучительна для героя. Она открывает ему то, чего он не понимал, не хотел понимать, прятал от самого себя. Она сдергивает последнюю завесу, оставляя лицом к лицу с голой и нестерпимой в своей наготы правдой.

А еще чуть раньше один из выселяемых, ветеринар Вердыш, миролюбиво говорит герою очень важные, ключевые для всей художественной концепции повести слова: «Хотите совет, Баулин?.. Бывает много грязной работы. Поверьте, я это отлично знаю. Но, когда ее делаешь, все равно надо думать. Грязная работа зависит не от вас. Думайте, Баулин! Иначе, черт возьми, будет очень скверно...»

Активно работающая мысль, все подвергающая своей неприязненной проверке и не дающая задремать человеческой совести, будоражащая ее, требующая от нее ответов на беспокойные вопросы, — важнейшее условие постижения жизненной и, главное, человеческой правды. Ведя нас вместе с героем тернистым путем познания, писатель и к нам обращает свой призыв: думайте! В этом мне видится, помимо ее гуманистического звучания, пафос повести.

Есть в произведении И. Герасимова и еще один существенный момент, на который необходимо обратить внима-

ние. Его герой, неплохой в общем-то человек, уже вернувшись домой, намаявшись и напереживавшись, спрашивает себя: ну а позвонят его снова — пойдет он? И честно признается себе: да, пойдет, потому что таким его сделала жизнь и другого пути у него нет.

Признание это дорого стоит. И вопросов оно будит множество: выходит, даже сознание неправоты, бесчеловечности не остановит его? И что это — страх за самого себя, за свою жизнь или впитавшаяся в плоть и кровь, ставшая второй натурой привычка беспрекословно и бездумно повиноваться? Или — несмотря ни на что — вера в правильность и мудрость принятых кем-то наверху решений? Так понимаемый долг коммуниста?

Писатель подводит нас к необходимости задуматься над этими вопросами. И то, что они отнюдь не случайны, но продиктованы и особенностями времени, когда разворачивается действие, и изображенным в повести социально-психологическим типом человека, сформированным этой эпохой, свидетельствует хотя бы вот такое признание Булата Окуджавы.

Имея в виду вторую половину пятидесятых годов, когда был положен конец культуре личности Сталина, Б. Окуджава говорит: «Вот и я возник в то время. А прежде я был сталинистом, как и многие в моем поколении. Удивляться нечему. Сначала было подавление всякой возможности сомнения. Это вызвало страх. Страх укоренился, создал новый тип человека. Мои родители были репрессированы. Но я считал, что они в чем-то виноваты, потому что наши замечательные чекисты не ошибаются. Я пережил два обыска, ночные аресты и, как и многие тогда, жил под гнетом страха. К этому примешивалось желание быть человеком, верить, что происходящее — хорошо, что в нем есть свой резон. Хотелось верить — вот что самое страшное. Я был слепым романтиком, типичным продуктом эпохи, и очень просто объяснял для себя зловещие факты, связанные с культом личности Сталина. Я считал, что все происходящее — помимо него. Он занят серьезными делами, строительством, созданием нового государства...»

Слепота и прозрение...

Два слова, но между обозначаемыми ими человеческими состояниями нередкое огромное расстояние, для преодоления которого чаще всего требуется напряженнейший труд души и ума, стремление к правде, добыть вание ее. Этот труд и определяет не только внутреннюю историю человека, но и его духовный и нравственный облик.

Многие произведения самого последнего времени (я имею в виду время публикации, а не написания) — это произведения добывания правды. И надо сразу заметить: авторы их могут осуждать слепоту, заблуждения своих персонажей, но они не торопятся осудить или обвинить их самих, понимая, сколь нелегко дается прозрение и как много разнообразных сил действует на человека, формируя его тип сознания, стереотипы мышления и систему реакций.

Не в том ли, скажем, новизна последней повести Василя Быкова «Карьер», что здесь на первый план выходит не традиционное для этого писателя столкновение героя с обстоятельствами, а постепенное изменение его взгляда на многие вещи, углубление его понимания? Сопротивляясь обстоятельствам, герой изменяется и сам.

Между прочим, притчевая форма быковских повестей во многом была предопределена неизменностью центральных героев. Обстоятельства только раскрывали характер Сотникова, лейтенанта Ивановского, учителя Мороза, обнажали их нравственное ядро, но взгляды их на жизнь оставались неизменными.

В этом отношении и «Знак беды», и «Карьер» — произведения с менее жесткой конструкцией, с большей повествовательной и, я бы сказал, эпической свободой. Это не значит, что они удались писателю лучше, чем, скажем, «Сотников» или «Круглянский мост», но в них есть некое новое качество, связанное, как мне кажется, прежде всего с героями. С углублением гуманистической концепции человека.

Мы помним, что В. Быков еще в «Круглянском мосте» остро поставил нравственную проблему правых и неправых средств. Есть она и в «Карьере», где герой посылает беременную Марию передать взрывчатку и тем самым фактически обрекает ее на гибель. Имел он право распоряжаться ее жизнью или нет — этот вопрос мучает Агеева все последующие годы. Он и приводит героя снова к тому самому карьеру, где когда-то расстреливали его самого и других подпольщиков. Агеев хочет дознаться, погибла Мария или нет.

В контуре этой темы находится и другая, не менее важная для общей художественной концепции «Карьера». Агеева приютила у себя в доме попадая Барановская. Самоотверженно заботясь о раненом, она рассказывает ему о своей жизни, о муже — отце Кирилле, о тяжелых для них временах несправедливых притеснений, и в ее рассказе сквозит глубокая человеческая порядочность и благородство.

Агеев верит в ее искренность, в ее бескорыстие — и тем не менее «...где-то в глубине его души все же таилась подленькая опаска: как бы она не подвела его, эта попадья. Все-таки она принадлежала к чужому классу, а разность классовых интересов есть вечная предпосылка для борьбы, это он усвоил себе со школы».

Герой подробно расспрашивает ее о муже, стойком и добросердечном человеке, о религии. Он хочет понять, что же помогает Барановской быть выше причиненных ей обид, не отвернуться от мира и по-прежнему служить людям. Он все острее чувствует узость и предвзятую ограниченность усвоенных им с детства представлений о человеке, не только встающих на пути истинной справедливости, но и порождающих разрушительное для общества и нормальных человеческих отношений недоверие, сеющих рознь и недоброжелательство.

Недолгое пребывание героя «Карьера» в зоне оккупации становится для него временем серьезной переоценки ценностей, пересмотра своих взглядов. Через сочувствие другой душе, безвинно пострадавшей, хлебнувшей и мук, и унижений, идет герой к новому пониманию, пробивается к кардинальным гуманистическим истинам.

Немало придется пережить и героине романа-хроники Бориса Можаяева «Мужики и бабы» Марии Обуховой, пережить и передумать, прежде чем она в конце концов поймет и решит, что не имеет права соучаствовать в том произволе, который творят в деревнях Тихановского района горе-политики Возвышаев, Чубуков, Ашихмин и прочие.

Гневом и болью наполнены строки можаяевского романа, рассказывающие о безоглядном и безжалостном рвении этих дорвавшихся до власти местных чиновников. Что им до конкретного живого человека, если они уже одной ногой в новой эпохе и ничего вокруг себя не видят и видеть не желают? До оставшихся без крова и без кормильцев крестьянских семей? До совершающегося буквально на глазах разрушения и обнищания деревни?

Мария по-прежнему верит в провозглашенные революцией идеалы, в построение нового общества, но с Возвышаевым и компанией ей не по пути. Не по пути с возведенным в норму и закон жестокосердием, со скудоумной и рвущейся перекрыть все показатели исполнительностью.

Думаю, что и роман Владимира Дудинцева «Белые одежды» выиграл бы, покажи писатель более обстоятельно внутренний путь своего героя, кандидата биологических наук Федора Ивановича Дежкина, к окончательному прозрению, к правде. Ведь и этот герой не сразу догадывается о шарлатанстве своего покровителя и учителя академика Рядно, не сразу понимает, какими преступными и жестокими методами пользуется «народный академик» для достижения своих вполне своекорыстных и честолюбивых целей.

Я понимаю, у В. Дудинцева была иная задача — показать, как добро сопротивляется злу, как герой в интересах науки и истины борется с обстоятельствами и в конечном счете побеждает их. На этом и основан детективный сюжет романа.

Однако жаль, что тема добывания правды, глубоко гуманистическая и демократическая в своей сути, в «Белых одеждах» лишь заявлена. Сам же процесс такого добывания остался за кадром, хотя об отдельных важнейших моментах внутреннего становления героя мы тем не менее узнаем: это и извлеченный на всю жизнь урок из невольного, непредумышленного доноса пионера Феди Дежкина на руководителя геологической экспедиции, и его рассуждения о добре и зле, и тайный интерес к генетическим опытам.

Что же мешало талантливому Федору Дежкину разглядеть истину, понять, что к чему? Ему мешал страх — страх оказаться в одном стане с «не нашими», с классовыми противниками. Мешало намеренное обуздывание мысли, лишение ее свободы, без которой невозможно никакое подлинное познание.

«Если бы анализировал — давно увидел бы истину, — исповедует Дежкин подвижнику от науки Ивану Ильичу Стригалеву. — В том-то и дело, Иван Ильич. Не анализировал. Не приучен был к анализу. Вера, вера! Не анализировал, а теперь вижу — подгонял под концепцию результаты. Десять лет подгонки! Помню случаи, когда не получалось и из-под неуклюжей конструкции выглядывали белые нитки. Истина. Так я пугался! Не советское выглядало, не наше. Чуждое, монах Мендель».

Духовное и нравственное самостояние личности, безоглядная свобода мысли и совести — вот на чем заостряет наше внимание современная литература, вот о чем особенное ее беспокойство сегодня.

Герой задумавшийся, герой прозревающий, герой ищущий или кающийся — вся эта типология в нынешней прозе фактически служит одной главной цели — более глубокому познанию человека и социальной действительности. Добыванию правды, а значит, и жизни.

3. В потоке истории

В 1981 году на обсуждении нескольких почти одновременно появившихся романов — «И долгие века длится день» Ч. Айтматова, «Выбор» Ю. Бондарева, «Твоя зря» О. Гончара и других, проведенном журналом «Вопросы литературы», А. Бочаров высказал важное наблюдение — о переходе «от романа ситуативного и романа панорамного к роману, где в центре стоит человеческая судьба, а не конфликт — производственный, идеологический, бытовой, — конфликт, в котором прямо участвуют, выявляя свои характеры, противоборствующие, противостоящие друг другу персонажи». По мысли критика, именно человеческая судьба становится здесь главной единицей измерения.

Литературная практика подтвердила это глубоко верное наблюдение, дав такие произведения, как «Время и место» Ю. Трифонова и его незавершенный роман «Исчезновение», повести Д. Гранина «Еще заметен след» и «Зубр», продолжение романов Б. Можаяева «Мужики и бабы» и В. Белова «Кануны», роман А. Рыбакова «Дети Арбата» и другие.

Понятно, почему многие произведения, где судьба человека становится организующей темой, появляются только теперь, когда сняты запреты на упоминание целых периодов отечественной истории. Периодов самых сложных, противоречивых и драматичных. И раньше литература приближалась к ним, как скажем, Ю. Трифонов в «Доме на набережной» или М. Алексеев в «Драчунах», но здесь она наталкивалась на непреодолимые и независимые от нее препятствия.

Если же задуматься, то станет совершенно ясно, что без изображения судьбы человека, пройденного им жизненного пути и связанной с различными событиями прошлого его «внутренней истории» литература просто обречена на ущербность, на ущемляющую ее реалистическую сущность неполноту.

Выскажу и такую, возможно, спорную мысль: экстремальные ситуации, широко распространившиеся в прозе семидесятых, так называемые ситуации нравственного выбора, где герой проверялся на духовную стойкость, во многом были порождены именно невозможностью показать человека на реальных крутых изломах истории. Они как бы компенсировали дефицит отражения в литературе драматичности реальной истории и столкновения человека с ней. И обстоятельства, которыми испытывался человек, предлагались достаточно отвлеченные, часто мифологизированные.

Суть вовсе не в том, что одни, положим, отдают предпочтение мифологической, притчевой прозе, а другие — прозе строго реалистической. Суть в том, что, делая главным объектом художественного исследования судьбу человека, «его пересечение с историей, жизнь в истории» (Н. Иванова), литература углубляет и свою концепцию человека.

В произведениях, основывающихся на локальных ситуациях нравственного выбора, человек испытывается, так сказать, одновременно: как ты поступил, таков ты и есть, такова твоя сущность... Сотников выдержал, не сдался — он герой, Рыбак пошел на компромисс, сломался — он предатель. Кто есть кто — всем понятно. Так возникает проза, условно говоря, нравственного максимализма.

Но всегда ли жизнь так четко распределяет роли? Всегда ли сущность человека может быть адекватно выражена той или иной его реакцией? Да и законы военного времени иные, нежели законы мирного; да и во время войны сколько угодно было ситуаций, сложность которых противится однозначным оценкам.

Нет, литература «судьбы» не отрицает критериев литературы «нравственного максимализма», она не отказывается от ее этического и художественного опыта, но она приращивается более широкого, более диалектичного и, если угодно, более гуманного взгляда на человека. И в этом смысле судьба не только становится главной единицей измерения, но и высвечивает истинный масштаб ценностей. Обнажая те колоссальные психологические перегрузки, которые пришлось на долю человека последнего столетия, она возвращает нас к нормальным человеческим критериям.

Мы вправе спросить себя: так ли уж естественны экстремальные ситуации для оценки человека, чтобы возводить их в норму и делать неременным атрибутом художественного мышления?

Да, двадцатый век не шибко благоволил к таким коренным духовным ценностям, как снисходительность, доброта, милосердие, но он же, явственно, как никогда, обозначив высоты человеческого духа и бездны нравственного падения, заставил узреть роковую черту, по ту сторону которой личность уже не властна над собой, где человеческое аннигилируется. И тем самым побудил всерьез задуматься об охране природы — не окружающей, а человеческой, духовно-нравственной, тоже имеющей свои пределы. Задуматься о создании таких социальных условий, которые бы предотвратили преступление этой черты, не только помогли бы сберечь нормального человека, но и способствовали бы развитию и раскрытию его человечности.

Как бы ни была уникальна судьба того или иного человека, она раздвигает горизонт художественной мысли писателя. В ней, как в малой капле, отражается и судьба народная — все, что пережито народом, вынесено им на своих плечах и что так или иначе воздействовало на его сознание и мироощущение.

Вот почему хорошо понятно и закономерно обращение писателей к подлинно сложным, неоднозначным и трудным судьбам, к натурам богатым и неординарным. Из произведений последнего времени в этом отношении примечательна повесть Даниила Гранина «Зубр», в центре которой — реальный человек, крупный ученый-биолог Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.

Д. Гранин и прежде привлекали люди, сумевшие мак-

симально самореализоваться — и нравственно, и творчески. Вспомним «Клавдию Вилор», «Эту странную жизнь...», недавнюю повесть «Еще заметен след». Личность и судьба — вот два краеугольных камня, лежащих в основании гранинской художественной концепции во всех этих вещах.

Повесть «Зубр» документальна и по фактуре, и по способу авторского осмысления материала. Писатель не просто стремится воссоздать образ-характер своего героя, не только рисует его непростую судьбу, но и истолковывает их, пытается выявить в них главное, решающее.

«Злой рок лишал его то родины, — пишет Д. Гранин, — то сына, то свободы и, наконец, честного имени. Любое из этих лишений было убийственным, раздавливало и душу, и ум».

Однако при всех драматических перипетиях этой судьбы у героя оставалось, по мысли писателя, самое важное — внутренняя свобода и достоинство. Вопреки всем обрушившимся на него бедам и ударам Зубр был самим собой, преданным не только науке, но и «правилам чести и порядочности».

При этом автор не идеализирует героя, действительно вызвавшего у окружающих его людей удивление и восхищение, хотя иногда и допускает ненужные красоты типа «отблесков вулканического пламени Зубра», полыхающих «на его остром лице».

Что окружает Д. Гранин в своей повести ореолом высшей ценности, так это прежде всего личность человека, ее цвет, ее своеобразие, ее уникальность, неповторимость, впитавшие мощь и яркость богато одаренной натуры Зубра. Это проявляется во всем — в шепетильной порядочности и в выламывании из общепринятых правил, в яростном свободомыслии и в истовых молитвах, в еретизме подхода к научным проблемам и артистизме поведения.

Д. Гранин не смущают противоречия его героя, он не стремится затушевать или примирить их. Такая, какая есть, в ее цельности и в ее противоречиях, в ее стихийной мощи и в ее слабости, личность Зубра для писателя — безусловный дар, национальное достояние и богатство. Она ценна для него не только сама по себе, но и как концентрированное выражение духовной одаренности нации, народа, как проявление их высших сил.

Не случайно автор с очевидным удовольствием перечисляет знаменитых предков Зубра, в рассказах которого обнаруживалось завидное знание собственной родословной, семейных преданий, — с такими подробностями, кои легко было бы считать вымышленными, если бы они не подтверждались документами.

Унаследованное, по мысли писателя (в противовес лысенковской догме, отвергавшей идею наследственности), играло в становлении личности и таланта Зубра столь же важную роль, как и среда. С нескрываемым воодушевлением, почти с азартом рисует Д. Гранин научную вольницу 20-х годов — поры не очень сытной, но полной бескорыстия, высоких замыслов и удивительных проектов, молодых кипучих сил и задора.

И дальше, вступая с автором в иную пору, мы понимаем, как много значили для науки и всей нашей культуры те самые двадцатые — тоже непростые, противоречивые, но все-таки еще не утратившие «пьянящий воздух расцвета», заложившие мощный фундамент для дальнейшего движения научной мысли и развития культурного творчества.

Так развертывается в повести ее главный внутренний контрапункт, вызывающий у нас глубокую горечь. Перед нами духовное богатство и яркость личности, живущей трудной, полной энтузиазма жизнью, своим творчеством возвышающей эту жизнь и очеловечивающей ее, — и тут же рядом равнодушие к этой жизни, пренебрежение к ней как к чему-то второстепенному, необязательному.

После окончания войны Зубр, работавший в Германии и по мере сил и возможностей помогавший военнопленным, решает — вопреки угрозам друзей, звавших его в Америку, — вернуться в Россию. Его арестовывают и отправляют в лагерь. А когда Завенягин, бывший в то время замнарком-

ма внутренних дел и высоко оценивший Тимофеева-Ресовского, хватился его, Зубра найти не смогли. Поиски продолжались больше года. Наконец нашли. Он был при смерти.

Писатель рассказывает об этом факте сухо и сдержанно, потому что в нем, в самом факте, кроется взрывная сила. Ведь ничего не стоило потерять человека, ученого с мировым именем!

Конечно, дело вовсе не в мировой известности. Да будь это самый обыкновенный, рядовой человек — поражало бы не меньше! Но здесь как-то особенно ошутимо отношение к человеческой жизни, особенно наглядна малость ее цены.

Именно в противовес нивелировке личности, обесцениванию ее жизни, в противовес представлению о человеке как о «винтике» или «клавише» Д. Гранин, словно драгоценные крупинки, собирает различные сведения и свидетельства о Зубре, помогая представить героя именно как неповторимую личность с богатым внутренним миром, поэтизирует ее удачу, непокорство, сомнения, колоссальную работоспособность, неординарность мышления...

И к решению Зубра о невозвращении домой в годы, когда возвращение грозило неминуемой гибелью (не был пощажён даже великий Н. И. Вавилов), писатель относится как к поступку, который можно оценивать по-разному, но который, на его взгляд, не был проявлением слабости, не был и отступлением от «правил чести».

Это, безусловно, более диалектичный и гуманный взгляд на человека, изживающий плоскость и однозначность. Размышляя над судьбой Тимофеева-Ресовского, автор поиниому смотрит и на многих из тех, кто оказался после революции за границей. Не из догматического, мажущего всех одной краской посылка «кто не с нами, тот против нас» исходит писатель, а из более глубокого и справедливого понимания сложности истории с ее неисповедимыми подчас путями. И пафос его — патриотический!

Д. Гранин пишет: «Огромная эта первая волна русских людей — а было их около трех миллионов, оказавшихся за рубежом, — издавна привлекала, возбуждала особый интерес, были в нем тайная жалость и неосознанное родственное чувство — наши! Может быть, потому, что большей частью люди эти уезжали не по обдуманному собственному решению — их вытолкнули обстоятельства трагические, запутанные, о которых и знаем-то мы плохо».

Понятно, что повесть Д. Гранина, и уж тем более такой взгляд на русскую эмиграцию, могли появиться только в последнее время. Они требовали от общества того уровня достоинства и нравственной зрелости, той гражданской озабоченности своим духовным достоянием и восстановлением справедливости, которые не боятся сложности жизни и самых острых ее проблем и противоречий.

В связи с углублением гуманистической концепции человека в нашем искусстве сегодня закономерно встает вопрос о серьезном осмыслении проблемы трагического, о более активном использовании этой ключевой эстетической категории в разговоре о жизни и литературе.

Разумеется, дело не в понятиях и определениях. И что, собственно, человеку, чья жизнь оказалась перемолотой в жерновах истории, до того, как назовут его судьбу?

Но для общества, для общественного нравственного чувства, для воспитания гуманности это, несомненно, важно и необходимо. Именно поэтому проблема трагического должна стать предметом вдумчивого и честного анализа — без всяких уклончивых и замазывающих ее суть оговорок.

Думается, литература сегодня предоставляет для этого реальную возможность. Ведь именно высокое трагедийное звучание выделяет и поэму «По праву памяти» А. Твардовского, и «Реквием» А. Ахматовой, и повесть К. Воробьева «Это мы, господи!..», и роман Ч. Айтматова «Плаха», и стихи О. Берггольц...

Но, оценивая ту или иную судьбу как трагическую, подходить к ней извне, объективно, литература не может и не вправе обойти трагизм как субъективное переживание человека в тех или иных ситуациях его жизни.

В таком умении литературы встать на точку зрения са-

мого человека, найти способ высветить его душу, его чувства изнутри, понять его — гуманистический завет нашей классики прошлого века.

Вот мать безвинно арестованного Саши Панкратова и романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» обращается к его дяде, директору крупнейшего завода, с гневными, выстраданными словами: «Что касается лагерей, то не грюзишь, я ничего не боюсь, хватит, боялась, довольно! Всех не пересажаете, тюрем не хватит... Ничтожное меньшинство... Поворачивается язык! «В селах живут миллионы!» А ты видел, как они живут? Когда-то, раньше, молодой, ты любил петь «Назови мне такую обитель», помнишь?.. «Где бы русский мужик не стонал, помнишь? Хорошо пел, с душой, добрый был, жалел мужика. Что же ты сейчас его не жалеешь? О ком ты тогда пел? «Для народа, во имя народа»... А Саша не народ? Такой чистый, такой ясный, так верил, а его в Сибирь, расстрелять нельзя было, так хоть в Сибирь. Что осталось от ваших песен? Молитесь на своего Сталина...»

В этих горьких обличительных словах пронзительно звучит и горе матери, потерявшей сына, и твердая вера в его невиновность. И дело не в том, что страдание сделало мать Саши зорче многих, а в том, что ее правда — правда глубоко трагическая — по-человечески впечатляет гораздо больше, нежели возражение Рязанова, что «у нас диктатура, а диктатура — насилие». Она помогает понять, что несправедливость и жестокость, творимые даже по отношению к одному человеку, наносят урон всему народу, всему обществу.

И думается, совершенно прав Е. Сидоров, когда предупреждает об опасности вульгарного охранительного «оптимизма», ставящего рогатки на пути такой правды. «Проникая в нашу идеологию и в литературу, литературно-художественную критику, он способен нанести огромный вред духовному развитию общества. По существу, это род социального пессимизма, прикрываемый бодрой фразой и лучезарной улыбкой. Он активен в отрицании глубоких противоречий в жизни человека и общества и поэтому так подозрителен к любой конструктивной критике сложившегося положения вещей. С точки зрения такого «оптимизма» трагический пафос не может быть пафосом жизнеутверждения, ибо он обнажает резко конфликтные отношения между реальностью и человеческим идеалом. Вульгарный оптимизм, вольно или невольно принимая жалаемое за сущее, не имеет ничего общего с историческим оптимизмом и прямо противоположен ему».

4. Спор о человеке

Широко известно высказывание Ф. М. Достоевского: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой».

Кажется, этот факт — факт неотъемлемости художественного познания глубин души человеческой, человека во всей его сложности и противоречивости от подлинно реалистической литературы, от самого метода реализма — не нужно ни утверждать особенно, ни защищать. Слишком он очевиден и несомненен.

Однако так ли это?

«Мы должны бороться в нашей литературе за психологически здорового и сильного героя, который сейчас нужен как воздух нашей молодежи», — заявил на недавнем пленуме правления Союза писателей СССР прозаик Юрий Сергеев.

Понять тоску по цельному человеку нетрудно. И призывы к такого рода борьбе — не новость в нашей литературной жизни. Но и следствия их тоже хорошо известны — конструирование ходячих схем, выращивание гомункулусов и в конечном счете отступление от реализма.

Бороться за психологически здорового человека нужно не в литературе, а в жизни, создавая для этого соответствующие социальные условия, способствующие всестороннему развитию личности, утверждению ее достоинства и уважения к ней. Литература может только содействовать этой борьбе — художественным познанием человека и верой в него, в его способность расти и творить — не только самого себя, но и жизнь, видеть свои ошибки и преодолевать их. В этом выражение ее реального гуманизма.

«Диалектика души» — вот один из главных способов такого познания, давший нам неувядаемые образы героев Л. Толстого, инструмент, в котором по-прежнему нуждается наша литература. Проникая с его помощью в «тайные тайных» человека, в его глубинные мыслительные и эмоциональные движения, она не только отделяет истинное от ложного, живое от омертвевшего, но и помогает понять, что происходит с человеком.

Если прибегнуть к традиционному делению персонажей на положительных и отрицательных, то герой романа Ю. Трифонова «Исчезновение» Николай Григорьевич Баюков, безусловно, положительный. Старый большевик, он постепенно отстраняется от дел, с горечью и непониманием смотря на то, что происходит вокруг. Исчезают давние знакомые, опытные, проверенные годами революционной борьбы партийные кадры. Иногда он еще пытается что-то сделать, помочь кому-то, но удаётся это ему все реже.

Вот они вместе с еще одним героем задают мучительным вопросом: неужели их старый товарищ Пашка Никодимов мог в самом деле участвовать в антиреволюционном заговоре и на допросе назвать еще четырнадцать человек соучастников? В их сознании это просто не умещается, они не в силах поверить, но против фактов, о которых им стало известно, тоже не пойдешь.

И Николаю Григорьевичу, лишь смутно догадывающемуся, что в недрах государственного аппарата происходит нечто страшное и непоправимое, все-таки легче поверить, что арест Никодимова не случайность, не чей-то проказ, а имеет какие-то существенные причины. Писатель показывает, как мысль героя об этом незаметно превращается «в убеждение и в некоторое даже облегчение души. Было, конечно, больно думать о Павле, о его судьбе... но одновременно возникло чувство покоя, ибо восстанавливался разрушенный было хаосом и необъяснимостью порядок мира».

Ю. Трифонов далек от огульного обличительства. Но и обойти подобного, пусть почти бессознательного, но все-таки соглашательства он, как тонкий психолог и социально мыслящий писатель, тоже не может — слишком типичен этот исследуемый им психологический механизм самозащиты, произрастающий из великого дара природы всему живому — инстинкта самосохранения. Слишком он важен как социальное-психологический феномен.

Писатель показывает: человек, не умеющий чего-то объяснить, теряющийся перед каким-либо тревожащим его явлением, часто склонен либо просто отстранить от себя это явление, либо довольствоваться объяснением поверхностным, но зато вполне его устраивающим, восстанавливающим душевный комфорт. А это в итоге приводит не только к абберации зрения, но и к нравственным уступкам.

В трифоновском романе этот вроде бы не зависящий от героя инстинкт гармонизации не остается без авторской оценки. Нам ясно, как относится к такой невольной слепоте и отступлению от своей внутренней правды писатель. Голос автора звучит в покаянных словах одной из героинь романа, обращенных к Баюкову: «И самое страшное, знаешь что? Все мы толстокожие, пока не коснется нашей skóry».

Или вот такой ключевой эпизод романа — уже из военных лет. Игорь Баюков возвращается с завода, получив первую здесь зарплату, и в перелуке на него неожиданно нападает шпана. Избитого и поверженного, его обшаривают в поисках денег, как вдруг из расположенного неподалеку репродуктора доносится: «В последний час!.. Успешное наступление наших войск... в районе Сталинграда!»

Значение услышанного столь велико, что, даже, возможно, и не осознав этого по-настоящему, парни отпускают Игоря и уходят. Приподнимается и он, прикладывает снег к разбитым губам, к глазам, слушает. «И ему радостно, его радость огромна, он счастлив. Он встает на непрочных ногах, чтобы быть ближе к репродуктору, который там, на столбе».

В этой мастерски написанной сцене прекрасно передано почти бессознательно живущее в человеке ощущение связи со своим народом, со своей страной, только что одержавшими важнейшую победу. Игорь чувствует громадность этого события — и все, что только что произошло с ним самим, отходит на задний план. Ведь это и его победа.

Испытываемое героем чувство счастья словно не умещается в нем, оно как бы отдельно, вне его, помимо него. Приподнимая и воодушевляя, оно заставляет забыть о себе, воспринимать себя отстраненно, как незнакомого человека.

Через, казалось бы, незначительный совсем эпизод выявляя глубоко социальное чувство общей судьбы, единства Ю. Трифонов показывает, что о подерживало людей в их самые трудные минуты, помогало выстоять и победить.

Не просто психология, очищенная от каких бы то ни было социальных связей и зависимостей, интересуется сегодня литературу, хотя в ней заметен интерес к самым глубинным и скрытым силам человеческой природы. Не случайно скажем, герой «Печального детектива» В. Астафьева Леонид Сошнин изучает художественный опыт Достоевского и по-немецки читает Ницше, чтобы доискаться до корней зла и жестокости.

Однако основное внимание нашей литературы направлено прежде всего на социальную психологию, на бытие с людьми, на существование в сложном общественном организме, в структуре государственного устройства где, казалось бы, неумолимые и безличные силы проявляются все-таки в действиях, в поступках разных людей, в человеческих взаимоотношениях.

Не случайно в романе А. Рыбакова «Дети Арбата», пролежавшем в столе писателя больше двух десятилетий, центральное место занимает именно спор о человеке.

Этот спор ведут почти все герои романа, своими чувствами, мыслями, поступками, своим нравственным выбором и в конечном счете своей судьбой утверждая то или иное представление о человеке, о его сущности и назначении. Но главный спор развертывается между возглавляющим государство Сталиным и далеким от вершин власти, простым студентом, твердо верящим в начертанные Октябрем цели. Сашей Панкратовым.

Сталину нет дела до судьбы какого-то студентика, случайно ставшего жертвой в затеянной охоте на лиц, занимающих несравнимо более заметное общественное положение, как ему нет дела вообще до любого конкретного человека. Он мыслит иными масштабами и категориями.

В романе Сталин решает вопрос, как крестьянскую страну в кратчайший срок превратить в индустриальную державу. Это трудно, нужны неисчислимые жертвы. Миллионы. И народ нужно заставить на них пойти. Способ тут один — сильная власть, чтобы держать народ в страхе. Любими средствами.

Из-под этой ледяной, железной логики государственной необходимости, как ее понимает Сталин, постепенно проступает иное — страшная и коварная логика самолюбия, биологическая жажда абсолютной власти. Безжалостная логика вседозволенности и презрения к людям.

Раскрывая психологию и «технологию» сталинской власти, А. Рыбаков показывает: презрение Сталина к людям — оборотная сторона его маниакального представления о собственной избранности и исключительности. И если кое-где в размышлениях этого персонажа сначала и проскальзывает мысль о благе человека, то постепенно она исчезает, сходит на нет — невозможно печься о благе человека, прези-

рая его и не считаюсь с ним, с его достоинством. Не цена его жизни.

Трудно сказать, насколько полно образ, созданный А. Рыбаковым, соответствует характеру реального исторического лица, о котором при его жизни можно было говорить только в превосходной степени. Но что у писателя были веские основания именно для такой художественной трактовки, разрушающей долгое время существовавший миф о непричастности или только косвенном отношении Сталина к тому тяжкому и темному, что совершалось в стране, — это не вызывает сомнения.

Совсем иначе относится к человеку демократичный, открытый, добродушный Киров, которому доставляло удовольствие видеть, как радуются люди. В противопоставленности этих персонажей в романе есть некоторая заданность и прямолинейность. Но вот что существенно: «правда» Кирова — это не только его личная особенность, не только его личное воззрение на пути достижения поставленных революцией целей. Она как бы представляет собой от лица революции, от народной мечты о всеобщей справедливости и счастье. Она перекликается с «правдой» обыкновенных, рядовых людей — Саши Панкратова, его матери, Вари и Нины Ивановых, Малова и других, сливается с ней. Именно она в романе несет идею человечности, уважения к человеку и веру в справедливость.

На протяжении всего романа А. Рыбаков внимательно подмечает и поэтизирует любые проявления доброй солидарности, сочувствия, взаимопомощи, объединяющие и сплачивающие людей в их противостоянии хаосу, унижению, отчаянию и в конечном счете небытию.

Вот конвойный в тюрьме, простой паренек, вместо одного раза в неделю водит Сашу Панкратова в душ чуть ли не каждую ночь. Он старается как-то облегчить положение заключенного — по собственному почину, подчиняясь доброму душевному движению. Вот ссыльный священнослужитель, отец Василий, в деревне Заима уступает идущему по этапу Панкратову свою постель и моет ему ноги. Вот оставленная в безлюдном зимовье охалка сухих сучьев — чтобы путник, забредший сюда в метель, не замерз на холодном полу.

В «Детях Арбата» эти знаки человеческого участия обнаруживают свое огромное значение прежде всего в несчастье, в беде, помогая герою выстоять, не сломаться, не разочароваться в человеке и тем самым сохранить силы для жизни, сберечь веру в революционные идеалы.

Противоборство двух правд — унижающей человека, взиравшей на него как на «винтик» или «щепку» и возвышающей, утверждающей его достоинство и самоценность его жизни — нерв рыбаковского романа.

«Таковы беспощадные законы истории», — размышляет в «Детях Арбата» один из «командиров промышленности» Марк Рязанов, тем самым оправдывая многочисленные жертвы и потери. Читая рыбаковский роман, «Мужиков и баб» Б. Можяева, «Белые одежды» В. Дудинцева и ряд других произведений, появившихся в последнее время, мы понимаем, что не только в законах истории дело, что колоссальна и роль случайности, и роль одного человека, его индивидуальной психологии, его личной порядочности, нравственной культуры. И великим заблуждением было бы валить все на законы истории, все списывать на их счет, забывая о счете нравственному, счете личной ответственности каждого человека.

Вспомним, что антипод Вихрова в «Русском лесе» Л. Леонова Грацианский вел родословную своей подлости из дореволюционного прошлого, запятнанного связью с царской охранкой, из шаткой «интеллигентщины» тех полных брожения и смуты лет. Natura этого антигероя вольно или невольно увязывалась с его социальным происхождением и положением.

Чего-чего, а этого не скажешь, к примеру, о «народном академике» Кассиане Дамиановиче Рядно, генерале Ассикритове или «альпинисте» Краснове — антигероях романа В. Дудинцева «Белые одежды».

Нет, не из мира наживы и эгоизма были заброшены к

нам, пользуясь словом одного из героев, «парашютисты» Рядно и Ассикритов, видевший везде заговоры и создававший их из ничего — исключительно для собственной карьеры, обрекая при этом на гибель ни в чем не повинных людей. Он, выходец из бедноты, если воспользоваться метафорой его коллеги полковника Свешникова, прилетел «к нам из собственного внутреннего пространства, переполненного завистью. Завистью и мечтой о власти».

Чем переполнено это «внутреннее пространство» — тут можно спорить, да и вообще однозначного ответа может просто не быть. Но что натура, которую с одной логикой, как писал Достоевский, не перескочить, играет здесь небольшую, а подчас и решающую роль — это как-то не вызывает сомнения.

Загадки человеческой психологии — индивидуальной и социальной — всегда волновали литературно-художественную мысль. Закономерно, что и сегодня она особенно пристально вглядывается в них, особенно в тех случаях, где эта психология оказывается зловеще неуправляемой и нравственно необузданной.

Примеры можно множить: это и загадка «инфернального» Азефа, профессионального провокатора, одного из основателей партии эсеров и секретного сотрудника департамента тайной полиции в романе Ю. Давыдова «Две связки писем», и метящий в «великие инквизиторы» Гришан в «Плахе» Ч. Айтматова, и некто Демочкин, ученик и заклятый враг Зубра, писавший на него доносы, у Д. Гранина, и Арсений Флоринский, получающий непомерное наслаждение от власти над другими людьми в «Исчезновении» Ю. Трифонова. Не случайно размышляют над природой человеческого отступничества В. Распутин и В. Быков, а А. Адамович предпринимает в «Карателях» поистине беспрецедентное исследование предательства в его крайней, равносильной вырождению форме.

В. Быков так объясняет свой интерес: «Очень важно раскусить врага, каким был немецкий фашизм, но и не менее важно понять, что же происходило с людьми, которые еще вчера были своими — односельчанами, соседями, иногда родней... Мне хотелось в художественной форме разобраться, почему такое могло произойти, выявить истоки предательского пути, социально-нравственный генезис падения».

Писатели хотят понять, что в том или ином поведении человека от природы, от личных качеств и свойств натуры, а что от социальных условий, среды, обстоятельств и т. п. Все эти вопросы, достаточно традиционные для нашей литературы, предполагают углубленное художественное, социально-психологическое исследование человека и времени.

5. Тоска по абсолюту

Что больше всего тревожит сегодня нашу литературу, так это опасность девальвации традиционных нравственных ценностей, проверенных и выношенных в многовековом положительном опыте поколений.

Трудно не согласиться с философом и социологом И. С. Коном в том, что «люди во все времена вели себя по-разному, их реальное поведение часто не соответствовало нормативным предписаниям, да и сами предписания сплошь и рядом были противоречивыми».

Однако литература, принимая эту очень существенную мысль, подвергая ее строгому досмотру или даже оспаривая, тем не менее твердо ведет свою линию — на утверждение коренных нравственных ценностей.

Тема чести и порядочности — стержневая в «Зубре» Д. Гранина, об «истинном кодексе непреходящих ценностей» толкует в «Знаке беды» и «Карьере» В. Быков, о вечных истинах напоминают В. Распутин и А. Рыбаков.

«Мир утрачивал этику религиозную. А где же этика нерелигиозная?» — этот вопрос задает Ю. Давыдов в романе «Две связки писем», главный герой которого, выдающийся русский революционер Генрих Лопатин, всерьез обеспокоен

склонностью многих участников революционной борьбы к отступлению от общепризнанных, общечеловеческих принципов морали.

Современную литературно-художественную мысль особенно волнует проблема укрепления нравственных устоев общества, повышения значимости гуманистических ценностей в его жизни. Путь к этому — пробуждение внутренней потребности каждого человека в этике, в ее высоких заветах любви, участия, сочувствия, уважения к другому. Вот почему литература сегодня так настойчиво взывает к сознанию и самосознанию личности, заставляет пристальнее взглянуть в себя, определить главное.

В романе Владимира Тендрякова «Покушение на миражи» друг и однополчанин героя, участник гражданской войны, а впоследствии крупный ответственный работник Иван Трофимович Голенков признается, оглядываясь на прожитую жизнь: «...Трехдюймовочка, с которой я в молодости тесно познакомился, мне характер испортила — не мог глядеть не прицеливаясь, не мог действовать не сокрушая, даже когда говорил, то изо всех сил старался, чтобы мои слова имели пробойную силу. «Давай-давай!» — штука взрывчатая...»

Голенков сетует, что прожил жизнь, слишком торопясь, как он говорит, заре навстречу, а вот в себя взглянуть все было недосуг. Оглянувшись же — оторопел, растерялся: выходит, не то делал... Его мучает, что мимо главного-то, отвечающего истинному человеческому предназначению, он прошел, не заметил, пропустил. Теперь, на самом склоне лет, в нем пробудилась тоска по абсолюту, жажда абсолют — высших нравственных ценностей, первейшая из которых — человеколюбие. Его даже к богу потянуло.

В. Тендряков особенно не стремился прописать характер Голенкова, понимая, что тот достаточно хорошо знаком читателю. И не столько характер важен здесь для писателя, сколько пока я не Голенкова, вызванное его нелепым и строгим самоанализом. Покаяние как проявление его активизировавшегося самосознания, его духовной жажды. Как свидетельство совершающейся в его душе переоценки ценностей, и прежде всего — отношения к человеку. Важно для писателя и другое — растерянность героя, ищущего новых оснований для своей жизни.

Активизация общественного и личного самосознания сегодня может быть по праву квалифицирована как давно назревшая и насущнейшая историческая необходимость. Но как всякий социально значимый и объективный процесс, долго сдерживаемый внешними силами и не имевший адекватного выхода, он породил и резко обострившиеся противоречия.

Одно из самых, пожалуй, серьезных и печальных следствий этих противоречий — не что иное, как растерянность человека перед происходящим в окружающем его действительности и теми тревожными вопросами, которые не дают покоя его гражданскому и нравственному чувству.

Закономерно, что и литература не могла обойти этого состояния человека, не отразить его. Ведь и режиссер Крымов у Ю. Бондарева, и шофер Иван Петрович у В. Распутина, и оперативник Леонид Сошнин у В. Астафьева — герои, по сути дела, тоже растерянные. Хотя растерянность их иного свойства, нежели у Голенкова.

Взять хотя бы героя распутинского «Пожара» Ивана Петровича. Нет, он вовсе не утратил себя! Его взгляды на жизнь, его выстраданные убеждения и принципы, его жажда порядка на родной земле и воля к добру — все осталось с ним. Но тем пронзительней и горше звучат его тягостные размышления о том, что свет «перевернулся», что мир расшатался на старых основаниях, что люди стали другими.

И мы с горечью видим, как остро переживает Иван Петрович свое одиночество и бессилие перед воцарившимся в поселке Сосновка хаосом — перед злобой и жестокостью одних, перед откровенным и безудержным врачеством других, перед молчаливым равнодушием и нежеланием вмешиваться третьих.

Растерянных героев мы и прежде встречали в произведениях В. Распутина. Вспомним сына старухи Дарьи Павла в «Прощании с Матёрой», так и не пришедшего в себя после войны, или героя-повествователя в рассказе «Что передать вороне?», задумавшегося об отсутствии у него «чувства полной и нераздельной слитности с собою» — свойстве «людей случайных или подменных». Характерная черта этих героев: они сомневаются в себе, в адекватности своего восприятия реальности, своем соответствии жизни.

Вспору задаться вопросом: кто ж тогда, ежели не они, искренние, совестливые, чувствующие свою личную ответственность за то, что происходит вокруг? Кто же больше них соответствует жизни? Неужто Петруха, которому все до лампочки — родной ли дом жечь или что другое, или архаровцы, заинтересованные лишь в том, чем бы поживиться, а там хоть трава не расти?..

Ответ песомненен: пока живы такие труженики, как Иван Петрович, жива и надежда на порядок в доме.

Но и мимо растерянности героя мы пройти не вправе, тем более, что главная ее причина всячески подчеркивается писателем — и ярко написанными сценами, и публицистическими размышлениями. Она — в разладе между идеалами и реальностью, во все более увеличивающемся расхождении между должным и сущим, в беспорядке, затрудняющем жизнь честному человеку и представляющем раздолье архаровцам и всякого рода хапугам.

Задуматься над этой причиной и многими другими, с ней связанными, и призвал В. Распутин, ударив в набатный колокол. Вместе со своим героем честно взглянув в лицо реальности.

Обращаясь к истории и к современности как ее моменту, извлекая уроки из прошлого и размышляя над сегодняшними наболевшими проблемами, вглядываясь во внутренний мир человека и выявляя его духовно-нравственные ресурсы, наша литература стремится увидеть жизнь в ее многогранности и единстве — «в свершениях народа и противоречия развития общества, в героизме и повседневности трудовых будней, в победах и неудачах...».

Как бы ни были подчас тяжелы и горьки уроки, как бы ни было драматично пережитое народом и страной, без честного и вдумчивого осмысления прошлого, без взыскательного анализа реального положения вещей, без трезвого и безбоязненного взгляда в лицо действительности невозможно преодоление былых ошибок и искажений, невозможно обновление и движение вперед — об этом ясно и твердо было сказано в документах апрельского (1985 г.) Пленума и XXVII съезда партии.

Пафос преодоления и жизнеутверждения, пафос уважения достоинства человека — вот, пожалуй, главное, что сегодня воодушевляет литературу.

Утверждая кардинальные социально-нравственные ценности, она вместе со всей нашей общественной мыслью задается важнейшим и по-прежнему актуальнейшим вопросом — как «объединить» развитие истории и движение порожденных мыслью этических категорий, а в их составе — важнейшей по своему общественному значению категории гуманизма? И не будет ли такое объединение достигаться все большим и большим превращением этических категорий вообще и категории гуманизма в первую очередь в нормы не только человеческого поведения, но и всей общественной, государственной жизни?».

Вслед за академиком Н. Конрадом с полным правом можно повторить вновь слова, написанные им более двух десятилетий назад в известной статье «О смысле истории»: «Вся прошлая история человечества, вся наша современная действительность взывают к этому. И мы живем сейчас с надеждой, что так и будет».

Воистину так — с надеждой!